

A black and white portrait of Vladimir Mayakovsky. He is a man with a shaved head and a serious expression, wearing a heavy, textured grey suit jacket over a striped tie and a light-colored shirt. He is seated, leaning forward with his hands resting on a large, messy stack of papers and documents on a desk. The background is a simple, slightly out-of-focus interior.

Владимир Маяковский

*по
мостовой
моей души*

очерки, статьи, письма

Владимир Владимирович Маяковский
Тимофей Федорович Прокопов
По мостовой моей души
Серия «Письма и дневники»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36063385

По мостовой моей души: АСТ; Москва; 2018
ISBN 978-5-17-110347-7

Аннотация

«Маяковский идет – и по новым кварталам Москвы, и по старому Парижу, по всей нашей планете идет с „заготовками“ – не новых рифм, а новых дум и чувств...» – писал Илья Эренбург. За свою жизнь Владимир Маяковский проехал сто пятьдесят тысяч километров, девять раз выезжал за рубеж. Побывал в Польше, Чехословакии, Германии, Франции, Испании, Кубе, Мексике, США. И каждый раз он привозил из своих путешествий новые стихи, очерки, рисунки. Оттуда же летели то радостные, то тревожные письма поэта Лиле Брик – ей первой спешил он рассказать о пребывании за границей. Знакомство с культурой других стран, общение с коренными жителями и эмигрантами, богатые впечатления от увиденного стали основой его прозы, написанной в том же маршевом, барабанном ритме, который так

хорошо знаком по его стихам и который ярко выделяет голос Маяковского среди всех остальных голосов.

Содержание

Маяковский в странах русского зарубежья	6
Как провожали	9
«Это был поэт-театр»	19
«Зря, ребята, на Россию ропщем!»	22
«Я въезжал с трепетом...»	29
Как поэту открывалась Америка	36
Встреча с невенчанной женой	41
Лжа и глянец государственного культа Маяковского	46
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Владимир Маяковский

По мостовой моей души

© Т.Ф. Прокопов, составление, предисловие, примечания, 2018

© РИА Новости

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

*По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле блака
застыли
башен
кривые выш, —
иду
один рыдать,
что перекрестком
ра́спяты
городовые.*

Маяковский В. «Я»

Маяковский в странах русского зарубежья

*Ты балда, Коломб, –
скажу по чести.
Что касается меня,
то я бы
лично –
я б Америку закрыл,
слегка почистил,
а потом
опять открыл –
вторично.*

Маяковский. В. Христофор Коломб

Странствия одного из титанов литературы Серебряного века и советской эпохи Владимира Маяковского в зарубежье, в те места и центры, где расселились, рассеялись два миллиона наших сограждан, вынесенных на чужбину ураганами революций, сыграли в его творческой судьбе роль приметную. Общение с изгнанниками, знакомство с тем, как живут народы других стран, не могли не отразиться на его, казалось бы, незыблемых, неколебимых, сформировавшихся раз и навсегда мировоззренческих устоях. Об этом свидетельствуют и тексты, собранные в настоящей книге.

Маяковскому власти впервые (в основном стараниями

наркома Луначарского, дружески к нему относившегося) позволили выехать за границу в 1922 году (в мае – в Латвию, в октябре – в Германию, где он пробыл почти месяц, а завершил путешествие семидневным гостеванием во Франции). Это был тот самый 1922-й, который открыл в истории нашей культуры ее очередную скорбную страницу, черно окрашенную массовыми депортациями из большевистской России неуспокоенной интеллигенции.

Впервые оказавшись в городе своей давней мечты – в Париже, поэт не сдержал восторга: «Я выхожу на Place de la Concorde!» Он тогда еще и помыслить не мог о том, как больно, как растревоженно ударил по сердцам изгнанников тот смысл, который им вкладывался в восклицание. Для них парижская площадь Согласия не стала той, какой привиделась поэту, – символом примирения, знаком согласия апатридов с теми, кто лишил их Родины.

В дальнейшем Маяковский ежегодно, и не по одному разу, пересекал недружественную (увы, такую же, как и теперь) границу с Западом. Из них шесть многодневных выездов он совершил в Германию и столько же во Францию (напомним: это были страны, наряду с Польшей приютившие у себя наибольшие потоки беженцев из России). А самым длительным (четырёхмесячным!) оказалось его путешествие по Мексике и Соединенным Штатам Америки. Напоминая об этом, приходится с сожалением отмечать, что среди сотен мемуарных, биографических и иных свидетельств о Маяковском

его ежегодные поездки в зарубежье остаются белым, скудно освещаемым пятном.

Как провожали

Уезжал Маяковский в свой первый вояж, радостно одержимый ожиданием встреч и впечатлений, а вслед ему неслось улюлюканье газет во главе с «Правдой». Центральный орган большевиков еще 8 сентября 1921 года открыл кампанию вовсе не литературного свойства, а политического освидетельствования поэта статьей заведующего партийным Агитпропом Л. Сосновского «Довольно “маяковщины”».

«Видели ли вы на Тверской, – вопрошала газета, – в окне “Роста” выставляющиеся раньше цветные, размалеванные, якобы революционные плакаты? Теперь их, к счастью, нет. Но раньше они оскорбляли глаз круглосуточно. Кому они доставляли удовольствие?

Гг. футуристам. Ибо они получают за них фантастические гонорары. Раз-два кистью – и готова картина. По такому-то параграфу заплатить художнику с дюйма...

Прибавлена к нелепому рисунку пара нелепых строк якобы стихов...

Заразилась и провинция. Нашлись и там ловкачи, подражатели Маяковского, великовозрастные остолопы, не умеющие рисовать и не желающие этому делу учиться, но желающие “жрррать” по самому высокому тарифу...»

А страна читала, разглядывала и дивилась совсем непривычным: рифмованным, да с картинками, рекламным смешным зазываньям, которые тотчас будут тысячеуто повторены и Москвой, и повсеместно: «Нигде кроме, как в Моссельпроме», «Нет места сомненью и думе: всё для женщины только в ГУМе»; «Лучших сосок не было и нет. Готов сосать до старых лет»...

А стихи поэта, те, что настоящие и серьезные? И они до него так не писались: «Надо рваться в завтра, вперед, чтоб брюки трещали в ходу»; «Грядущие люди! Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души!»; «Земля! Дай исцелю твою лысеющую голову лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот»; «Видите – гвоздями слов прибит к бумаге я»... Читая такое, Горький из своего полуэмигрантского сидения в итальянском «Иль Сорито» отзывался понимающе, но с осторожным одобрением: «В футуристах все-таки что-то есть!» И еще: «Много лишнего, ненужного у футуристов, они кричат, ругаются, но что же им делать, если их хватают за горло. Надо же отбиваться».

Однако скандальная кампания против «якобы революционного» творчества разворачивалась все шире и беспощадней, в нее, как по команде, втесались (и прежде не унимавшиеся) литературные недруги футуристов и лично Маяковского. От этих поэт отругивался легко и остроумно. Примерно так: на одном из литвечеров ничевоки отослали его «к Пампушке на Твербул (к памятнику Пушкину на Тверском

бульваре. — *Ред.*) чистить сапоги всем желающим». Отбиваясь, он в карман за ответом не полез, а тут же потребовал принять резолюцию: «Запретить им в течение трех месяцев писать стихи, а вместо этого бегать за папиросами для Маяковского» (и зал дружелюбным хохотом резолюцию одобрил).

Лишь самые близкие знали: к злопыхательству Владимир Владимирович привыкал трудно и огорчительно, словно смиряясь как с неизбежным: ему всякое доводилось слыживать на выступлениях в десятках поездок по стране. Однако в 1921-м примешалось одно зловещее обстоятельство-совпадение. За неделю до беспардонной публикации «Правды», в которой содержалась устрашающая фраза «Надеемся, что скоро на скамье подсудимых будет сидеть маяковщина», страна узнала о том, что в ночь на 26 августа прогремели расстрельные выстрелы, унесшие жизни 61 деятеля науки, культуры, литературы (позже выяснилось: расстрелянных «по делу профессора Таганцева» было не 61, а 350 человек; через полвека они будут реабилитированы). Всех их, не утруждаясь разбирательствами, обвинили в заговоре и шпионстве. Имена казненных с краткими биографическими справками были опубликованы 1 сентября «Петроградской правдой» и «Красной газетой» (в этом сильно усеченном списке тридцатым читаем имя поэта Николая Гумилева).

Антимаяковский памфлет Сосновского был тогда многими понят как донос, так, словно большевистский босс пред-

лагал еще одно имя в палаческий список.

И тут уместно напомнить: как раз с 1922-го началась многострадальная эпопея изгнания из страны интеллигентов, заподозренных в недозволяемом своемыслии. Об этом сегодня рассказывает долго скрывавшийся документ, который и дал ход новой волне репрессий: секретная директива Ленина, направленная 19 мая 1922 года председателю Государственного политического управления (ГПУ) Ф.Э. Дзержинскому. Текст почти восемьдесят лет оставался неизвестным. Не публиковался по причинам важным: оберегалась репутация вождя. Да и сами жертвы репрессий (те, кто выжил), все как один, в мемуарах писали, что не Ленин был зачинщиком. Прочтем же, что директивой предписывалось:

«Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции.

«...» Обязать членов Политбюро уделять 2–3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволоочки всех некоммунистических изданий.

«...» Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей.

«...» Всё это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих “военных шпионов” изловить и излавливать постоянно и систе-

матически и выслать за границу»¹.

Из требовательно указующих формул ленинской директивы одна у чекистов 1920–1930-х годов стала самой ходовой, растиражированной в тысячах приговоров: интеллигент (а в письме это профессора, педагоги, писатели, журналисты, читай: все деятели науки и культуры) – не кто иные, как «военные шпионы», которых «надо излавливать постоянно». Что и было принято к исполнению на годы властвования большевиков. Здесь обратим внимание на ужасающий факт: почти все упомянутые в письме лица – и те, кто был обозван «шпионами», и те, кто «шпионов» арестовывал и судил (председатель Петроградской ЧК С.А. Мессинг, нарком внутренних дел Украины А.Н. Манцев и др.) вскоре оказались соседями на тюремных нарах, стали жертвами репрессий. Одних из страны изгнали, оставшихся (или оставленных) чуть позже расстреляли или замучили в ГУЛАГе. Ближайшие годы показали, что по сравнению с цифрой подвергшихся политическим расправам (таких миллионы) число изгнанных в 1922-м, вывезенных на пароходах, которые метафорически будут названы «философскими», оказалось ничтожно малым (всего-то сотни). Однако это были избранные из самых авторитетных (а потому сочтенных особо опасными), вырванные из той важнейшей для каждого государ-

¹ Высылка вместо расстрела: Депортация интеллигенции в документах ВЧК – ГПУ. 1921–1923. М.: Русский путь, 2005. С. 73–74.

ства прослойки, которая являлась интеллектуальной элитой, определяющей развитие и процветание любого общества.

Вот с ними-то Маяковскому и предстояли встречи, беседы, споры в литературских клубах, во время домашних застолий и в кафе, нередко за его любимыми забавами – бильярдом, игрой в бридж или за рулеткой («осведомители», и там приглядывавшие за ним, дивились: как много уделял он времени богемщине; им трудно было понять, что для него это разгрузка, освобождение от напряженного умствования, отдых перед новыми трудами).

Еще до поездок в зарубежье Маяковскому довелось испытать на себе воздействие всевозможных «воспитательных» мер, более похожих на карательные. В их числе – больно ударивший по его писательскому самолюбию запрет «Окон РОСТА», ведомых им самозабвенно и радостно (думалось: вот польза стране, очищающей себя от скверны!). Тогда были уничтожены сотни из его знаменитых агитплакатов («сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей»; кое-что из сохранившегося ему удалось позже издать в сборнике «Грозный смех»; а теперь они заняли весь третий том в его Полном собрании сочинений; есть они и в других томах). Чем мог ответить на дикарство вначале «изласканный», но тут же и «окарканный» поэт? Прежде всего стихами. Как отповедь Сосновским и как насмешка над бюрократическим режимом, деспотически насаждаемым усердствующими аппаратчиками, прозвучала его сатира «О дряни», в которой од-

ни настороженно, другие удивленно (до чего ж вызывающе, как смело!) читали:

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина. <...>

<...>

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спальни. <...>

На стенке Маркс.
Рамочка ала.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из потолочка
верещала
оголтелая канареица.
Маркс со стенки смотрел, смотрел...

И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните –
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

И «свертывание голов» не замедлило с осуществлением, да к тому ж с рвением нарастающим, размашистым. А Маяковский, ни на йоту не усмирённый (не на такого нарвались!), подставляет голову публикацией новой сатиры, куда более острой, среди славословий громогласных и всё заглушающих совсем непозволительной, прозвучавшей насмешкой над революционными строителями коммунизма, – «Прозаседавшиеся» (напечатана в «Известиях ВЦИК» 4 марта 1922 года). Стихи совершенно случайно проскочили в печать (в газету власти!), когда главный редактор Ю.М. Стеклов был в отъезде. Этого ненавистника Маяковского – разъярённого: как посмели! – смогло усмирить лишь одно совсем неожиданное для него (как, впрочем, и для всех) обстоятельство – стихи понравились Ленину.

«Вчера я случайно, – сказал Ильич, – прочитал в “Известиях” стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта,

хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдруг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они всё заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно. Мы, действительно, находимся в положении людей (и надо сказать, что положение это очень глупое), которые всё заседают, составляют комиссии, составляют планы – до бесконечности... Практическое исполнение декретов, которых у нас больше чем достаточно и которые мы печем с той торопливостью, которую изобразил Маяковский, не находит себе проверки».

Похвала вождя, высказанная сразу же после публикации сатиры, произнесенная вслушно на очередном из его каждодневных заседаний, открыла тогда поэту страницы всех журналов и газет, даже тех, в коих еще вчера размножались только издевки над ним и над его творчеством. А в чем неожиданность похвалы, вырвавшейся из уст первого лица государства? Она была в том, что всего за год до этого, в день рождения Ленина, Маяковский преподнес ему свою поэму «150 000 000», в которой вождь прочитал и не мог не возмутиться вот такими финальными строками, уж не ему ли адресованными:

Это тебе

революций кровавая Илиада!
Голодных годов Одиссея тебе!

Негодующий Ленин 6 мая послал записки о распоясавшемся футуризме наркому просвещения Луначарскому и его заму М.Н. Покровскому («Нельзя ли это пресечь! Надо это пресечь»), а издавшему поэму главному редактору Госиздата был объявлен выговор.

Однако ничуть не уgomонившийся поэт тогда же сочинил и новый ответ недоброжелателям, и опять в стихах: «IV Интернационал. Открытое письмо Маяковского ЦК РКП, объясняющее некоторые его, Маяковского, поступки». В нем он едва сдержался от непечатных словес: «Идите все от Маркса до Ильича вы...» А в октябре 1922-го серьезно заболевшего Ленина, однажды так кстати защитившего поэта, Сталин окончательно поселил (изолировал) в Горках.

«Это был поэт-театр»

Заграница впервые увидела Маяковского сразу во всем его богатырском обличье и удивительно разным, со всеми его достоинствами и непонятностями, в актерских масках и без оных, примерно таким, каким описал его Корнелий Зелинский: «Кто он? Человек с падающей челюстью, роняющий насмешливые и презрительные слова? Кто он? Самоуверенный босс, безапелляционно отвечающий суждения, отвечающий иронически, а то и просто грубо?.. Разным бывал Маяковский... Самое сильное впечатление производило его превращение из громкоголосого битюга, оратора-демагога... в *ранимейшего и утонченного* человека... Таким чаще всего его знали женщины, которых он пугал своим напором». Пугал, но и привораживал!

О своих бесчисленных выступлениях перед публикой Маяковский небрежно говорил, что он с трибун *бабахал*. Глагол «бабахать» – один из многосотенного словаря эпатажей Маяковского. Читая его тексты, мы то и дело натываемся на такие же наделенные острой экспрессией словечки, объяснений которых не найдешь ни в каком лексиконе, потому что смыслы, в них вложенные, – им изобретены, им придуманы, они тотчас подхватывались всеми, а позже, для ученого истолкования, попадали даже в профессорские труды.

Так, как Маяковский, читать, например, стихи или «ба-

бахать» речи, увлекавшие экспрессией, не мог никто. Попробуем повспоминать, кого еще из дружеского круга, из вместе с ним не раз выступавших, можно бы поставить рядом и сказать: вот такой же актер-трибун, ему равный. Может быть, Бориса Пастернака, по самой его природе негромкого, самоуглубленного, с аурой отделенности, обособленности, неприступности? Или, наоборот, открытого, шумного до бесшабашности Сергея Есенина, возбуждавшего себя алкоголем, но остававшегося трогательно нежным, без всякого напора взывающим к сочувствию и пониманию? Или Романа Яacobсона, о котором любая аудитория сказала бы: выступает муж ученый, вслух размышляющий, рассуждающий и приглашающий к соучастию в поиске каких-то истин?.. Даже яркие и горячие спорщики Виктор Шкловский и Давид Бурлюк, не уступавшие в эпатажности Маяковскому, признавали его превосходство в мастерстве (актерском!) держать аудиторию. Не в этой ли его разности, точнее – многоликости, да еще «головой над всеми» (Ю. Олеша) причина того, что ни одному живописцу (а пытались многие) и ни одному мемуаристу не удалось создать точный портрет поэта? У всех – только его маски.

О раскованности, свободной непринужденности Маяковского на трибунах и сценах, в любых аудиториях хорошо сказал один из его соратников, секретарь редакции журнала «Леф» Петр Незнамов: «Это был поэт-театр». Именно актерством, для него естественным, природным, более всего и

поразил русскую эмигрантскую границу (и не только ее) «поэт-разговорщик», «поэт-театр».

Но и граница тоже поразила поэта. Чем же завлекла она и чем отвратила? От каких иллюзий освободила? Над чем убедила задуматься и в чем усомниться?

«Зря, ребята, на Россию ропщем!»

2 мая 1922 года Маяковский впервые пересек нашу границу – выехал в Ригу, и – его удивление: встречен он был здесь с нескрываемым, даже демонстративным недружелюбием. Латвия запретила ему главное – публичные выступления. И еще: едва издательство «Арбейтерхейм» выпустило (к приезду поэта) его поэму «Люблю», как власти спохватились и не развезенную по киоскам часть тиража конфисковали. А когда Маяковский, уже осенью, собрался выехать в Германию, то и тут прибалты учинили препоны: латвийское посольство отказалось выдать ему транзитную визу, и он отправился в эту поездку морем из эстонского Ревеля на пароходе «Рюген». «Я человек по существу веселый, – отозвался на запрет Маяковский. – Благодаря такому характеру я однажды побывал в Латвии и, описав ее, должен был второй раз уже объезжать ее морем».

«Описав ее...» – поэт имел в виду свое стихотворение «Как работает республика демократическая?», в котором сатирически выложил все негостеприимные странности («причиндалы», «благоустройства заграничные»), коими Латвия окружила его сполна, им не понятые, его изумившие, но зато давшие ему первые уроки на тему «я, Европа, не Россия, я другая» (тогда он не совсем разобрался в том, что Латвия еще не вся Европа). Правда, здесь и правительство («учре-

дилка, где спорят пылко») имеется («чтоб языками вертели»), и армия (даже «пушки есть: не то пять, не то шесть»), и «свобода слова» («напечатал “Люблю” – любовная лирика. Вещь – безобиднее найдите в мире-ка! А полиция – хоть бы что!.. Через три дня арестовала»), и культура («В Латвии даже министр каждый – и то томится духовной жаждой. Мне и захотелось лекциишку прочесть... Жду разрешения у господина префекта... Сразу говорит: «Запрещается. Прощайте!»). «А ежели человек – брюнет? – спрашиваю в бессильной яри. “Нет, – говорит, – на брюнетов запрещения нет”. Слава богу! (я-то, на всякий случай – карий)»).

«Мораль в общем: зря, ребята, на Россию ропщем» – таковой итог вывелся из этого первого выезда за кордон.

В Берлин Маяковский прибыл в начале октября, как раз тогда, когда здесь еще только обустроивалась очередная партия изгнанных из России: 29 сентября расстрельными угрозами их убедили стать пассажирами парохода Oberburgermeister Haken, того самого, что войдет в историю под названием «первого философского», доставившего высланных в Германию. А 16 ноября сюда же отправится и «второй философский» – Preussi. Среди насильственно изгоняемых были знаменитости, не понаслышке знаемые Маяковским: Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, С.Е. Трубецкой, Л.П. Карсавин, И.И. Лапшин, Н.О. Лосский...

С пополнением российской колонии в Германии (она уже состояла из 560 000 изгнанников и беженцев) многосто-

ронне активизировалась деятельность эмигрантских литературных, политических, профессиональных, общекультурных объединений, обществ и учреждений: их здесь были сотни. «Если Париж, – пишет Г.П. Струве, – с самого начала стал политическим центром русского зарубежья, его неофициальной столицей, то его второй и как бы литературной столицей с конца 1920 по начало 1924 года был Берлин».

В ту пору еще не были разрублены советско-эмигрантские контакты. В 1922-м в столице Германии печатали русские книги полтора десятка издательств, выходило с десятков русских газет, действовал Союз русских писателей и журналистов. В Клубе писателей и Доме искусств, созданном по типу петроградского, но подчеркивавшим свою аполитичность, устраивались литературно-артистические вечера, на которых пока еще вместе выступали и эмигранты, и советские гости: А. Белый, М. Горький, Р.Б. Гуль, Б.К. Зайцев, А.М. Ремизов, А.Н. Толстой, В.Ф. Ходасевич, М.И. Цветаева, Саша Черный, В.Б. Шкловский, И.Г. Эренбург... К ним-то и присоединился Маяковский.

«Хорошо знакомых» он встретил и на собрании берлинского Дома искусств, состоявшемся 20 октября 1922 года в литературском (таковым прославившемся) кафе «Леон». «В заурядном немецком кафе, – вспоминает Илья Эренбург, – по пятницам собирались русские писатели. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Как-то я увидел приехавшего из Эстонии Игоря

Северянина; он по-прежнему восхищался собой и прочитал все те же “поэзы”. На докладе художника Пуни разразилась гроза: яростно спорили друг с другом Архипенко, Альтман, Шкловский, Маяковский, Штеренберг, Габо, Лисицкий и я. Вечер, посвященный тридцатилетию литературной деятельности А.М. Горького, прошел, напротив, спокойно. Имажинисты устроили свой вечер, буянили, как в московском “Стойле Пегаса”» (*Эренбург И.* Люди, годы, жизнь. Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 391–392).

Особо надо сказать о встрече с Пастернаком. Борис Леонидович в Германию приехал не впервые: еще в 1912-м он в Марбурге изучал курс неокантианства у знаменитого Германа Когена. На сей раз поэт привез сюда свою четвертую книгу «Темы и вариации», которую в Москве никак не удалось напечатать, а здесь ее охотно приняли в издательстве «Геликон».

Два поэта, дружившие уже десяток лет, то и дело расходились, мирились, снова рассоривались, не переставая, однако (вот добрый пример всем!), радоваться писательским успехам друг друга. И в Берлин они приехали, пребывая в очередной размолвке, проходившей у обоих тяжело, мучительно. В разные годы Пастернак писал: «я был без ума от Маяковского», «я его боготворил», «вершиной поэтической участи был Маяковский», «я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем», «я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его суще-

ство открывалось мне во всей свежести первой встречи».

Свидетель их берлинского примирения, Эренбург, вспоминает: «Примирение было столь же бурным и страстным, как разрыв. Я провел с ними весь день: мы пошли в кафе, потом обедали, снова сидели в кафе. Борис Леонидович читал свои стихи. Вечером Маяковский выступал в Доме искусств, читал он “Флейту-позвоночник”, повернувшись к Пастернаку». Вскоре их пути опять разошлись. Но в 1926 Маяковский, приводя четверостишие своего друга «В тот день всю тебя от гребенок до ног», назвал его гениальным. А Пастернак, рассказывая о смерти Маяковского, написал: “Я разреvelся, как мне давно хотелось”».

Вопреки свидетельству Лили Брик, встревоженно написавшей, что Маяковский «все дни и ночи в Берлине просидел за картами», поэт ежедневно общался с не забывшими, не отторгнувшими его приятелями-эмигрантами, безотказно читал им (и публике тоже) свои стихи, слушал жадно и вдумчиво то, что они здесь писали, и, конечно, с безоглядной свободой спорил с ними, что-то отвергая, что-то принимая и поддерживая. Ни на день не покидало его ощущение: как же ему здесь хорошо!

Как-то после одной из вечеринок Маяковский разговаривал с Андреем Белым, который сказал ему такое, на что ответа тогда не нашлось и он только отшутился, но позже, уже в поездке по Америке, им вспоминалось с острым желанием и поспорить, и с чем-то понимающе согласиться. «Всё в

вас принимаю, – сказал ему Белый, – и футуризм, и революционность, одно меня отделяет – ваша любовь к машине как к таковой. Опасность утилитаризма не в том, что молодые люди увлекутся утилитарной стороной науки – это я только приветствую. Опасность в другом – в апологии Америки. Америки Уитмена больше нет, побеги травы высохли. Есть Америка, ополчившаяся на человека...» Последнюю фразу Маяковский посчитал провидческой и то и дело находил ей подтверждение, но уже тогда, когда объезжал города и веси «долларовой державы».

Однажды Маяковский решился прочитать русским берлинцам только что изданную в Москве поэму «150 000 000», ту самую, что не понравилась Ленину. Сменовеховская газета «Накануне», в которой соправителем был Алексей Толстой (в ту пору эмигрант), это его чтение не только поддержала, но и выпренне написала, что поэма «полна такого искрометного вдохновения, такой бичующей сатиры, что может смело выдержать сравнение с выдающимися творениями европейской поэзии... В цельности, в непосредственности, в смелых исканиях и творческом жаре – ценность Маяковского». Могло ли такое не порадовать поэта?

Беженец Игорь Северянин (с титулом «король поэтов», некогда завоеванным в схватке с Маяковским) после встречи в кафе «Леон» стал ходить на все выступления своего давнего соперника и собрата по цеху футуристов. А однажды они даже выступили вместе в болгарском землячестве. С ним же

он побывал в гостях у Алексея Толстого. Затем еще одно совместное выступление – в советском полпредстве, о чем Северянин вспоминал: «В день пятой годовщины советской власти в каком-то большом зале Берлина торжество. Полный зал. А. Толстой читает отрывок из “Аэлиты”. Читают стихи Маяковский, Кусиков. Читаю и я».

Маяковский в Берлине прогостил больше месяца, его впечатления отлились в строки:

Сегодня
хожу
по твоей земле, Германия,
и моя любовь к тебе
расцветает все романнее и романнее.

Обогретый теплом дружества в стране Гёте, Владимир Владимирович еще не знал, что последовавшее затем его пребывание в Париже, длившееся всего-то семь дней, затмит берлинские впечатления.

«Я въезжал с трепетом...»

Почему в Париж с трепетом? Да потому, что «после нищего Берлина – Париж ошеломляет», – отчитывался Маяковский о своем первом (будет и второй... и шестой) выезде во Францию. И далее раскрывает, что же помимо многого другого его, прибывшего из голодающей России и «нищего Берлина», «ошеломило»: «Тысячи кафе и ресторанов. Каждый, даже снаружи, уставлен омарами, увешан бананами. Бесчисленные парфюмерии ежедневно разбираются блистательными покупщицами духов. Вокруг площади Согласия вальсируют бесчисленные автомобили... Ламп одних кабаков Монмартра хватило бы на все российские школы».

Зоркий Маяковский узрел и то, что станет для него более важным и привлекательным во все приезды в город своей мечты: «Веселие Парижа старое, патриархальное, по салонам, по квартирам, по излюбленным маленьким кабачкам, куда, конечно, идут только свои, только посвященные». В один из дней и он оказался «своим» и «посвященным», позванным в салоны, а затем уж и счет потерял, в каких кружках и собраниях оказывался, выступая с речами, стихами, докладами.

И на улицах им увиделось «веселие тоже старое, патриархальное»: его поразило, что все европейские «тустепы» и «уанстепы» тут померкли «рядом с потрясающей популяр-

ностью... российских “гайда-троек”. Танцуют под всё русское. Под Чайковского (главным образом), под “Растворил я окно”, под “Дышала ночь восторгом сладострастья”, под “Барыню” даже!...».

А далее гость Франции пожелал «осмотреть высший орган демократической свободной республики» (пригласили: «осматривайте»). Просит «показать что-нибудь новое из парижской “материальной культуры”» – тут же повезли на технически очень обихоженный аэродром Бурже. «Вот Франция!» – восклицал довольный экскурсант, но тут же осторожно заключил: «Ругать, конечно, их надо, но поучиться тоже никому из нас не помешает».

С музыкой здешней знакомить приезжего из России взялся не кто иной, как сам «опарижившийся» Игорь Стравинский, автор всем известных «Соловья» и «Петрушки»; «Париж также его прекрасно знает по постановкам С.П. Дягилева». Но не он произвел впечатление на Маяковского, а – Сергей Прокофьев, «маяковствующий», как писали еще с дозаграничного периода: «Прокофьев стремительных, грубых маршей».

На миг отвлечемся, чтобы отметить: новым термином – «маяковничать», т. е. новаторствовать, создавать нечто свое, – стали пользоваться в 1910-е и 1920-е годы очень широко, например, в театре, чтобы охарактеризовать то, что вводил в лицедейство его восходящая звезда Всеволод Мейерхольд. Но отважнее, нахальнее прочих маяковничали жи-

вописцы-модернисты: их развелось столько, что они оставили далеко позади так же маяковствующих поэтов из новаторских групп имажинистов, будетлян, эгофутуристов, заумников, конструктивистов, ничевоков, серапионов (почти все они встретились Маяковскому там, в Берлине и Париже).

В отчетной главке «Покажите писателя!» Маяковский пишет, как он обратился с просьбой к водителю, его возившему, показать литератора «наиболее чтимого сейчас Парижем, наиболее увлекающего Париж». «Конечно, два имени присовокупил я к этой просьбе: Франс и Барбюс». В ответ водитель (он не простой, а с ленточкой Почетного легиона на лацкане пиджака) только поморщился: «Это интересует вас, “коммунистов, советских политиков“. Париж любит стиль, любит чистую, в крайности – психологическую литературу. Марсель Пруст – французский Достоевский, – вот человек, удовлетворяющий всем этим требованиям».

Разговор происходил накануне смерти Пруста, и Маяковскому через три дня «пришлось смотреть только похороны, собравшие весь художественный и официальный Париж».

Париж заставил Маяковского вспомнить и о том, как он еще юношей увлеченно изучал искусство Франции, будучи учеником школы живописи, ваяния и зодчества. И вот теперь ему далась возможность не только увидеть воочию работы парижских мастеров, но и беседовать с ними. Свой очерк о встречах с великим искусством и с его творцами он назвал так: «Семидневный смотр французской живописи»,

т. е. он каждый день обхаживал выставочные залы. Не станем пересказывать его воспоминания, а только адресуем читателей к ним и назовем тех, кем поэт восторгался, кого и за что-то очень уважительно поругивал: Пикассо, Делоне, Брак, Леже, Гончарова и Ларионов (ставшие «французами»), Барт – о каждом главка в отчетной брошюре воспоминаний.

Вот он встречается с Пикассо в мастерской, а перед тем восхищенно вглядывается в его картины и – вопреки учебным толкованиям – не находит в них «периодов»: где он розовый, где голубой, негритянский, кубистический, энгровский, помпейский?.. Для него художник един и узнаваем во всех работах, независимо от того, какого они периода, что и высказал великому мастеру (на то он и Маяковский, чтоб «сметь свое суждение иметь»).

Запомнилась встреча с Жаном Кокто: «Это поэт, прозаик, критик, драмщик, самый остроумный парижанин, самый популярный, – даже моднейший кабачок окрещен именем его пьесы “Бык на крыше”». С ним пришлось тоже заспорить: не мог Маяковский согласиться с тем, что в Париже нет и быть не может литературных школ. «Школы, классы, – пренебрежительно заметил Кокто, – это варварство, отсталость». «Бешеным натиском, – пишет Маяковский, – мне удалось все-таки получить характеристики, в результате чего оказалось, что прежде всего существует даже “школа Кокто”». И настаивает на своем – уж ему ли, главе футуристов, этого не знать: «Отсутствие школ и течений – не признак превос-

ходства, не характеристика передового французского духа, а просто “политическая ночь”, где все литературные кошки серы». В этом мнении он вскоре утвердился еще раз, когда стал знакомиться с эмигрантскими писательскими объединениями Парижа (их там тьма-тьмушая).

Зададимся, наконец, вопросом уместным, давно назревшим: обманывался ли Маяковский аурой приязни и приятия, теплом, гревшим его и в Берлине, и в Париже, в Мексике и Америке? Думается, что нет, обмана он не встретил, хотя и ослеплялся светом дружества. От недоброжелательства и озлобленности отмахивался шутками и остротами, в пререкания с явными врагами не вступал, понимая бесполезность дискуссий с такими. Он не мог не знать, что, например, Гиппиус с Мережковским и с ними Бунин решительно избегали встреч с «гостем из эсэсэрии». Он не мог не читать тамошние враждебные статьи о себе. Знал, в частности, о том, что общавшийся с ним еще в России с 1912 года и то и дело попадавший ему на глаза теперь в парижских кружках Владислав Ходасевич очень его не любил, такой уж если и напишет о нем, то это будут враждебные предвзятости.

Так и произошло: в 1927 году Ходасевич в газете «Возрождение» напечатал о Маяковском статью с оскорбительным заголовком «Декольтированная лошадь». Эту же статью он потом переработал и в том же «Возрождении» опубликовал 24 апреля 1930 года в качестве отклика на гибель поэта, оплакиваемую не только в СССР, но и во всех центрах эми-

грантского рассеяния. Этот бывший сотоварищ по поэтическому цеху совсем отбросил все сдержанности и деликатности, добавил (в некролог!) злобной остроты и брани – ведь Маяковский уже мертв («нет Маяковского. Но откуда мне взять уважение к его памяти?»), чего теперь с ним дипломатничать? кто осудит, кто защитит?

Однако защитники нашлись (и было их немало), пристыдившие, осудившие, отвернувшиеся от злобствующего критикана. Среди них – Роман Якобсон, назвавший публикацию Ходасевича «пасквилем висельника, измывательством над трагическим балансом своего же поколения». «Несравненно тягостней, – писал он, – когда помои ругани и лжи льет на погибшего поэта причастный к поэзии Ходасевич. Он-то разбирается в удельном весе, – знает, что клеветнически поносит одного из величайших русских поэтов»².

Но и у Ходасевича отыскиались с ним согласные. Вот один из них – А.Я. Левинсон, попытавшийся развернуть в Париже посмертную антимаяковскую кампанию. В газете *Les nouvelles littéraires* 31 мая 1930 года он в некрологе напечатал: «Маяковский никогда не был великим русским поэтом, а исключительно сочинителем официальных стихов». За эту публикацию писатели крепко побили автора (среди «карателей» был и Луи Арагон). Защищая Маяковского, в той же газете 13 июня (перепечатано в «Последних новостях» 14

² «О поколении, растратившем своих поэтов» // Смерть Владимира Маяковского. Берлин, 1931).

июня) с протестом против левинсоновских нападок выступили 108 (!) деятелей культуры России и Франции.

Так прощался с Маяковским очень ему полюбившийся Париж.

Как поэту открывалась Америка

В десятимиллионную «столицу долларов» Маяковский приехал 30 июля 1925 года. И уже на третий день в одной из здешних русских газет (Русский голос. 1925. 2 августа) появилась заметка «У Маяковского». Автором публикации был его стариннейший приятель по цеху футуристов, поэт и художник Давид Бурлюк. «Я не видел, – писал он, – Владимира Владимировича Маяковского, поэта и художника, знаменитейшего барда современной новой России, с апреля 1918 года. Тогда я расстался с ним в Москве». Уехавший в эмиграцию и с сентября 1922-го поселившийся в Америке, Бурлюк стал здесь гидом своего друга в его бесчисленных выступлениях, – всё точно так, как и в те давние, ими не забываемые времена, когда они вместе то в Москве, то в Петрограде, то в странствиях по России эпатировали публику желтыми кофтами да выкриками «Долой Пушкина с парохода современности!»

И вот – их встреча в Нью-Йорке. И первое здесь удивление Маяковского: «Сначала я делал дикие усилия в месяц заговорить по-английски; когда мои усилия начали увенчиваться успехом, то близлежащие (близстоящие, сидящие) и лавочник, и молочник, и прачечник, и даже полицейский – стали говорить со мной по-русски». И Маяковский облегченно вздохнул: его тут поймут, он может смело встречаться и го-

ворить с теми, кто захочет слушать его стихи, его рассказы о стране, в которой идет еще никем не знаемый, для всех еще загадочный и этим завлекающий социальный эксперимент.

А вот второе впечатление об Америке, обретенное не сразу, но уже в поездках по городам и после сотен бесед с американцами:

«О вас не скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в догадках, – поэт, художник, философ. Американец определит точно:

– Этот человек стоит 1 230 000 долларов.

Этим сказано все: кто ваши знакомые, где вас принимают, куда вы едете летом, и т. д.

Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в Америке. Все – бизнес, дело, – все, что растит доллар. Получил проценты с разошедшейся поэмы – бизнес, обокрал, не поймали – тоже».

Несмотря на то, что в основном лишь «левая» печать широко и шумно, с рекламным размахом оповещала обо всех появлениях Маяковского перед публикой, выступления «знаменитейшего поэта из большевистской Москвы» стали в США одним из самых примечательных событий, о чем будут долго помнить.

Еще открытие: «В Нью-Йорке 300 000 русских», – отметил Маяковский, определяя, кто его здесь будет слушать. И замелькали в американских газетах и журналах броские

заголовки: «Владимир Маяковский выступит в ближайшую пятницу» (Фрайгайт. 1925. 8 августа); «Маяковский в Нью-Йорке! Владимир Маяковский! Бум, банг, бум!» (Нью-Йорк уорлд. 1925. 9 августа); «Динамический русский поэт находит Нью-Йорк отсталым городом; мы, на взгляд Маяковского, старомодны и неорганизованны» (*Там же*. Интервью с Маяковским); «Маяковский выступит в Сентрал Опера Хауз завтра» (Фрайгайт. 1925. 13 августа), «Завтра все на вечер Маяковского!» (Новый мир. 1925. 13 августа).

А далее – эмоциональные отчеты, в которых поэта высокопарно аттестуют: «титан русской литературы», «богатырь советской поэзии», «живой плакат СССРовского сегодня», «прост и велик, как и сама Россия». «Фрайгайт» под восторженным заголовком «Маяковский гипнотизирует более двух тысяч человек на своей лекции» пишет: «Как очарованные, сидели тысячи человек, собравшиеся в зале, и чутко прислушивались к каждому слову поэта. За два часа, что они с ним провели, перед ними открылся совершенно новый, светлый мир, построенный на месте старых представлений о литературе и искусстве».

14 сентября, в день второго выступления Маяковского, газета «Новый мир» рядом с заголовком и таким же крупным шрифтом напечатала: «Сегодня вечером все нью-йоркские маяки потухнут. Будет светить только один, но зато громадный СССРовский маяк – Владимир Владимирович Маяковский. Сходите посмотреть на него и послушать в Сентрал

Опера Хауз. Просят пароходы к Маяковскому не приставать, так как мест мало, а желающих послушать много».

Маяковский, и сам изобретательный рекламщик, гордый на выдумку, читал, дивился и радовался тому, что и здесь, вдали от родины, нашлись родственные талантливые души.

Вот адреса его следовавших далее поездок по США, отмечаемых прессой: Чикаго, Филадельфия, Детройт, Питтсбург, Кливленд... И все – на ура, все – в переполненных аудиториях.

На исходе десятой «американской» недели Маяковского газеты запестрели заголовками, отражавшими его итоговые впечатления. «Америка в воображении русского» – об этом поэт уже начал задумываться все чаще и высказывался, о чем читаем в его речах, статьях и там же им написанных стихах:

Налево посмотришь –
 мамочка мать!
Направо –
 мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за день
 в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк.
 Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге

от Нью-Йорка города.

(«Бродвей»)

«Что я привезу в СССР?» – так он назвал и одну из своих последних встреч с американцами. Это было его выступление 4 октября в Нью-Йорке, о котором газета писала, цитируя Маяковского: «Мы приезжаем сюда не учить, но учиться тому, что нужно, и так, как нужно для России. Но Америка в целом непригодна для Советского Союза как образец. Америка для СССР – лозунг устройства советской индустрии, но американизм, как уклад жизни, для Советского Союза неприемлем» (Новый мир. 1925. 8 октября).

Маяковский и в «американских» стихах подытожил свои впечатления:

Я в восторге
от Нью-Йорка города.

Но

кепчонку

не сдерну с виска.

У советских

собственная гордость.

(«Христофор Колумб»)

Встреча с невенчанной женой

Маяковскому, хоть и не без труда, удалось выкроить время для того, чтобы по свежим впечатлениям, там же, за океаном, написать книгу-отчет «Мое открытие Америки» о своем трехмесячном пребывании в США. Она тогда же, в конце 1925-го, была издана в Нью-Йорке с рисунками Давида Бурлюка. Пролистав ее до конца, лишь об одном эпизоде, правда, очень-очень личном, мы не найдем в ней рассказа. Об этом же ни слова и в ряде других изданий, целиком посвященных самой интимной сфере жизни поэта, расписывающих в подробностях тех, кого Маяковский любил, кем увлекался, кому изъяснялся в пылких чувствах и посвящал стихи. Но среди них только одна-единственная оказалась по необъяснимой причине даже не названной, хотя именно с нею Маяковский чуть было не создал семью, такую, какая виделась ему в мечтаниях.

Этот сокровенный эпизод судьбы поэта оставался более шестидесяти лет тайным для всех, за пределами многих книг, в том числе лучшей его биографии (ЖЗЛовской) Ал. Михайлова. Раскроем, о ком и о чем речь: в 1925 году Давид Бурлюк познакомил Маяковского с Элли Джонс (Елизаветой Петровной Зиберт; 1904–1984), и вспыхнуло у обоих чувство, переросшее в невенчанное супружество, которое могло (высказанному предположению доказательств не най-

дено) привести его даже к решению остаться с нею там, в среде эмигрантов.

Россиянка Елизавета Петровна, ставшая американкой Элли, родилась в семье немцев-колонистов Поволжья. Ее отца Петра (Питера) Зиберта расстреляли большевики. За что? Он, оказывается, посмел на свои кровно заработанные деньги построить для сельчан больницу, школу, две мельницы. Ясное дело, что дочь «врага народа» решилась на очень рискованное: при первой же возможности бежать из страны. Она без долгих раздумий ответила согласием выйти замуж за англичанина, приехавшего в составе делегации для оказания помощи голодающим Поволжья. В 1923 году, будучи еще в Москве, Элли попала на одно из выступлений Маяковского. Поэт произвел на нее впечатление незабываемое. Супруги Зиберт жили то в Англии, то в США. Однако брак их оказался неудавшимся и вскоре распался. Однажды Элли появилась в числе гостей у Давида Бурлюка в Кэмпиндайге, что в окрестностях Нью-Йорка. Там же был и Маяковский. Как и Бурлюк, он тогда карандашом набросал портрет приглянувшейся ему красавицы, еще не зная, что пылко увлечется ею.

А в следующем году, 16 июня 1926-го, в Нью-Йорке родилась дочь Маяковского Елена (Хелен Патриция Джонс, в замужестве Томпсон; умерла в 2016-м). Потом она стала профессором, читала лекции в американских университетах по психологии семейных отношений. В 1951-м родила внука

Маяковского – Роджера Томпсона. В 1993-м, к 100-летию отца, Елена Владимировна издала в Нью-Йорке свою мемуарную книгу *Mayakoyski in Manhattan: A Love Story* («Маяковский на Манхеттене: История любви»), раскрывшую одну из долго скрываемых тайн личной жизни поэта, которую и позже не сочли нужным заметить, принять во внимание литературоведы и биографы. Даже Бурлюк до конца своих дней (он умер в 1967-м) хранил эту тайну друга, скрывая ее от всех, в том числе от Лили Брик (она однажды попыталась отыскать в США дочь Маяковского, с которой в это время, не таясь, водило дружбу все семейство Бурлюков).

Еще один важный эпизод, также остававшийся скрываемым, незамечаемым: дочь Маяковского осуществила рискованную затею – привезла прах матери в СССР и закопала урну у могилы отца на Новодевичьем кладбище.

Лиля Брик, конечно же, почти с первых дней знала об этой увлеченности Маяковского. Именно в ее архиве теперь отыскиались письма Маяковского, адресованные Элли Джонс (четыре его письма и две рождественские открытки Элли, посланные с 20 июля 1926 по 12 апреля 1929 года, а также несколько пляжных фотографий «двух Elli» в Ницце).

20 октября 1928 года Маяковский из Парижа сообщил Лиле Брик: «Сегодня на пару дней еду в Ниццу». Это была его пятидневная поездка к Элли Джонс и к своей двухлетней дочери. Вернувшись в Париж, он пишет в Ниццу: «Две милые две родные Элли! Я по Вас уже весь изоскучился.

Мечтаю приехать к Вам еще хотя б на неделю. Примете? Обласкаете? Ответьте, пожалуйста: Paris 29 Rue Campagne Premiere Hotel Istria. (Боюсь только не осталось бы и это мечтанием. Если смогу выеду Ниццу среду четверг). Я жалею, что быстрота и случайность приезда не дала мне возможность раздуть себе щеки здоровьем. Как это Вам бы нравилось. Надеюсь в Ницце выложиться и предстать Вам во всей улыбающейся красе. Напишите пожалуйста быстро-быстро. Целую Вам все восемь лап. Ваш Вол» (Эхо планеты. 1990. № 18. С. 44).

В Ниццу Маяковский больше не поехал: этому, как отмечают мемуаристы, решительно воспрепятствовала Лиля Брик, а еще – помешала встреча с другой женщиной, той, что была ему «ростом вровень» и с репутацией *femme fatale* (роковой дамы), – с Татьяной Алексеевной Яковлевой (1906–1991), художником-дизайнером. Познакомила их в октябре 1928 года Эльза Триоле (родная сестра Лили Брик, ставшая известной французской писательницей). О том, насколько сильно захватило его новое чувство (Э. Триоле: «с первого взгляда в нее жестоко влюбился»), свидетельствуют тогда же им написанные стихотворения «Письмо товарищу Кострову о сущности любви» и «Письмо Татьяне Яковлевой». Это были первые, после 1915 года, любовные строки, посвященные не Лиле Брик, которая, по словам Э. Триоле, «пожизненно владела Маяковским... Лили и Маяковский неразрывно связаны всей прожитой жизнью, любовью, общностью инте-

ресов». Однако их «семейные» отношения закончились еще несколько лет назад, когда у Лили появился другой мужчина. Потому-то и Маяковский, пытаясь устроить свою семью, настоятельно зовет связать свою жизнь с ним то Элли Джонс, то вот теперь Татьяну Яковлеву.

В феврале 1929 года, намереваясь снова приехать в Париж, он пишет Татьяне Алексеевне: «Обдумай и посбирай мысли (а потом и вещи) и примерься сердцем своим к моей надежде взять тебя в лапы и привезти к нам, к себе в Москву. Давай об этом думать, а потом говорить. Сделаем разлуку нашу проверкой». Однако возвращение в Москву «русская парижанка» решительно отвергла, а в декабре 1929 года Маяковский узнает: Татьяна Алексеевна, жаждавшая комфортной устроенности своей жизни, предпочла выйти замуж за французского виконта Бертрана дю Плесси. И эта его «любовная лодка разбилась о быт»?

Лжа и глянец государственного культа Маяковского

В последние десятилетия начались и волной доплеснулись до наших дней публикации с рассуждениями о том, что было как бы два Маяковских: один такой, другой рассякой, один властям служил и строю, другой музам. Вот этот последний, дескать, и вечен. Не вчитываясь, не вдумываясь – соглашаемся. Но при внешней убедительности такого раздваивания личности поэта то и дело являлись сомнения. Как ни суди, а ведь любой человек не одно- и не двухмерен: многолики мы все и многоцветны. Тем более те, кто из миллионов выделен, потому что наделен сверх меры даром творческим.

К таким размышлениям еще в 1990 году привела читателей талантливая и отважная книга Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского», ставшая, пожалуй, первой в ряду тех, в которых осуществлялась попытка нового взгляда на личность и творческое наследие «самого талантливого поэта советской эпохи».

Выступая против единомыслия суждений о Маяковском, насаждавшегося в советском литературоведении, Карабчиевский начал свою книгу остроумным советом: «Маяковского лучше не трогать. Потому что всё про него понятно, потому что всё про него не понятно». А завершая книгу, пишет: «Отношение к Маяковскому всегда будет двойственным, и

каждый, кто хочет облегчить себе жизнь, избрав одного Маяковского, будет вынужден переступить через другого, отделить его, вернее, отделять постоянно, никогда не забывая неблагодарной этой работы, никогда не будучи уверенным в ее успехе».

Соглашаешься и с утверждением Натальи Ивановой, в послесловии сказавшей: «Книга Карабчиевского производит необходимую очистительную работу: она едкой кислотой снимает стереотипность восприятия Маяковского, освобождает от многолетних псевдолитературных литературоведческих наслоений, от государственного культа Маяковского, установленного Лучшим Другом всех советских литературоведов. Дело уже не в глянце – дело в далеко зашедшей лживости тиражируемого по стране облика». Отвергается «партийность пера», но он «был и остается» первым поэтом тоталитарной эпохи с одним уточнением: «как поэт истинный – он шире ее рамок. И об уроках его поэзии, его судьбы нам предстоит еще думать и думать».

Думая о Маяковском, пытаясь распознать, кто ж он, как он, приходится снова возвращаться к актерским маскам, в которые поэт то и дело рядился. Оказывается, было среди них и такое перевоплощение: «нарочитая революционность» (о ней оповестил свое начальство наблюдавший за поэтом агент, укрывшийся псевдонимом «Зевс»). Неужто так это и есть? Разобраться и определиться нам теперь помогают недавно открывшиеся документы.

В предсмертной записке, озаглавленной «Всем», поэт 12 апреля 1930 года (за два дня до гибели) написал то, что ныне знают все наизусть:

Как говорят –
 «инцидент исперчен»,
любовная лодка
 разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете
 и не к чему перечень
взаимных болей,
 бед
 и обид.

«Любовная лодка разбилась о быт» – это ли уж очень тривиальное убедило поэта взять в руки пистолет? Не увел ли он всех ироничной фразой от истинных причин самоубийства? Сомнения устремляли к поискам объяснений, которые могли бы открыть что-нибудь поважнее, более значимое в судьбе Маяковского, принудившее его расстаться с жизнью.

Совсем недавно литературоведы получили дар, бесценный не только для них, – объемистый том «В том, что умираю, не вините никого?.. Следственное дело В.В. Маяковского» (М.: Эллис Лак, 2000). Это сборник впервые изданных документов, на многих гриф «Совершенно секретно». В числе только сейчас всем открывшихся текстов – агентурные донесения чекистов, внедренных в литературские кру-

ги. Выясняется, что и Маяковский нет-нет да проговаривался о недозволенном, о своих тайных мнениях и сомнениях — уж не навешанных ли поездками в эмигрантское зарубежье? И хоть были эти проговорки в кругу самых ближайших, но всё, что говорилось поэтом, тотчас становилось известно бдящим органам. Познакомимся с некоторыми из доносных текстов.

Агент под кличкой «Арбузов» в сводке от 18 апреля 1930 года «совершенно секретно» извещает: «Романическая подкладка (та самая «любовная лодка». — *Т.П.*) совершенно откидывается. Говорят — здесь более серьезная и глубокая причина. В Маяковском произошел уже давно перелом, и он сам не верил в то, что писал, и ненавидел то, что писал»³.

В агентурно-осведомительной сводке от 29 апреля 1930 года некто «Шорох» доносит: «В связи с самоубийством Маяковского в литературной среде господствует мнение, что если *поводом* к самоуб<ийству> послужили любовные неудачи, то *причины* лежат гораздо глубже: в области творческой — ослабление таланта, разлад между официальной линией творчества и внутренними, богемными, тенденциями, неудачи с последней пьесой, сознание *неценности* той популярности, которая была у Маяковского, и т. п., основной удар на разлад между соц<иальным> заказом и внутренними побуждениями, а отсюда вывод о том, что в литературе ца-

³ «В том, что умираю, не вините никого?... Следственное дело В.В. Маяковского». С. 15.

рит насилие, фальшь и т. п.» (*Там же*. С. 170). А далее агент раскрывает источники своего доносного утверждения: «Это мнение в разных оттенках и вариациях высказывали» (а он подслушал) писатели Борис Пастернак, Иван Новиков, Эдуард Багрицкий, Эмиль Кроткий, Виктор Шкловский, Аргон, Михаил Зенкевич и другие. Да и сам Маяковский это же подтверждал стихами:

С молотка
 литература пущена.
Где вы,
 сеятели правды
 или звезд сиятели?
Лишь в четыре этажа халтурщина. <...>
Нынче
 стала
 зелень ветки в редкость.
Гол
 литературы ствол.

(«Четырехэтажная халтура»)

О том, что вовсе не чисто личное кроется за гибелью поэта, читаем также в сводке агента «Зевса» от 11 мая 1930 года, которая заканчивается выводом: «Ряд лиц (весьма большой) уверен, что за этой смертью кроется политическая подкладка, что здесь не “любовная история”, а разочарование сов<етским> строем».

Еще один много значащий факт, вероятно, также сыгравший роль роковую в посмертной судьбе поэта: в декабре 1929 года, когда отмечалось 50-летие Сталина, из литераторов редко кто не откликнулся хвалой в стихах и прозе о вожде-юбиларе. Среди «редких» не отозвавшихся оказался Маяковский. Можем представить, как воспринял эту информацию любивший лести и почитание Сталин. Не здесь ли надо бы тоже поискать одну из причин «наказания», начавшего исполняться едва ли не сразу после того, как поэта, титулованного у могилы десятками уст великим и гениальным, проводили в последний путь нескончаемым (150-тысячным!) скорбным шествием?

А исполняться начало вот что.

Прежде всего скажем о том, что и ныне трудно поддается разумному объяснению: почему прах поэта (повторим: великого и гениального) пролежал упрятанным в одну из ниш Донского монастыря и не востребованным до 1952 года?

Перед кончиной Маяковский еще успел брезгливо прочитать статью В. Ермилова «О настроениях мелкобуржуазной левизны в художественной литературе», опубликованную 9 марта 1930 года. Но не дано ему было узнать о том, что этою публикацией открылся новый против него поход.

2 апреля 1930 года было сорвано его выступление в институте имени Плеханова. А далее, уже и не вспоминая о том, какими всенародными были его похороны, надвинулось черною тучей посмертное замалчивание поэта и выдворение

его из литературы. И не день-два оно длилось, а без малого шесть (!) лет. Что это было? чем объяснить? как такое понять нам, послевоенным школьникам, за партами заучившими наизусть сталинскую аттестацию «Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим...»?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.